

Людмила САРАСКИНА

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ УЛИКА В “БЕСАХ”

23 июня 1870 года, заполняя “фантастическую страницу” в черновой тетради к “Бесам” в поисках “подвига” для Князя-Ставрогина, Достоевский набросал несколько строк, которые высветили героя с весьма неожиданной стороны. Прежде скучающий, но чрезвычайно словоохотливый, Князь вдруг сделался странно молчаливым. “Князь слушает жадно, но молчит и хоть ничего не говорит, но видно, что он господин разговора. Он прислушивается и приглядывается. Угрюм и важен... Иногда молчаливо любопытен и язвительен, как Мефистофель. Спрашивает как власть имеющий, и везде как власть имеющий” (11; 175).

Эта заметка появилась скорее всего “под пером”: повинувшись какому-то импульсу, какому-то неясному намеку, Достоевский заставил еще достаточно аморфного Князя встретить страстные речи Шатова “о России, об антихристе и подвиге” многозначительным мефистофельским молчанием.

Ни в тот, ни в последующие дни лета 1870 года, когда работа над Князем приблизилась наконец к финальному решению, в тетрадях Достоевского так и не появилось имя, которое — будь оно там — с непреложностью доказало бы точный источник мефистофельских ассоциаций. Однако в том, что Князь, внезапно напомнивший Достоевскому нечто о Мефистофеле, а затем за полтора летних месяца доведенный до полной демонической кондиции, так и не получил в черновиках (по примеру других персонажей) имя возможного прототипа, заключался особый смысл.

Странно было бы признаваться в записной тетради, что маска Мефистофеля, мелькнувшая вдруг в облике Князя, магически воскресила память. Нечто глубоко в ней спрятанное вспыхнуло и загорелось — и этот огонь придал мучительным и до того бесплодным поискам чудодейственную энергию и целеустремленность.

Явленная автору цель санкционировала право на молчание — тем более, что имелись на это причины сугубо личного свойства.

Достоевский — и тогда, когда молодым попал в кружок Петрашевского, и когда после каторги вышел сумрачным и нервным нелюдимом — не был человеком открытым; товарищи его юности замечали в нем истый тип заговорщика: он был молчалив, любил говорить один на один, был скорее скрытен, чем откровенен. За двадцать семь лет, протекших после каторги, до кончины, он никогда публично или печатно не приводил имен и фактов, связанных с давнопрошедшей историей. А главное — он не оставил никаких автобиографических свидетельств о душевных переживаниях своей мятежной молодости. Когда же увидели свет (1885) воспоминания доктора Яновского с сенсационными подробностями на эту тему, прокомментировать их было некому: двух главных героев, о которых повествовал Яновский — Достоевского и Спешнева, — уже не было в живых.

История ли, судьба ли каждого из них распорядились, чтобы союз молодого писателя, посетителя “пятниц”, и его “Мефистофеля” не оставил никаких документальных улик.

Не сохранилось роковое заемное письмо-вексель, в котором, по свидетельству Яновского, Достоевский просил Спешнева о денежном пособии: “Получил он их в одно воскресенье, отправившись от меня около двенадцати часов пополудни к Спешневу, а вечером у Майковых сообщил мне о том, как Спешнев деньги ему дал и взял с него честное слово никогда о них не заговаривать”¹.

Все следственное дело Спешнева, в котором находилось и заемное письмо, и рукописи подследственного, и его показания на допросах, и якобы имевшее место “добросовестное признание” (упоминавшееся в заключении генерал-аудиториата), загадочным образом исчезло из архива: те из исследователей, кто первыми приступили к изучению документов петрашевской истории, бумаг Спешнева среди них уже не обнаружили².

Совершенно непонятная и судьба долга в 500 рублей серебром. Судя по тому, в каком безденежье пребывал Достоевский в феврале — апреле 1849 года, он вряд ли мог вернуть Спешневу долг до ареста. Скорее всего спешневские деньги действительно были истрачены сразу, в декабре-январе: уже в феврале Достоевский в длинном объяснительном письме к Краевскому просил у издателя “немедленных” сто рублей, а брату Андрею признавался, что сидит с 2-мя копейками серебром. Никаких следов, что его заботили большие долги, не было и в письмах Достоевского из Петропавловской крепости: он просил братьев то десять, то двадцать пять рублей на свои личные нужды и в уплату малых долгов, которые были сделаны уже здесь. Между тем Спешнев находился в одной из соседних камер. Вообще “скудное расположение духа” спешневца Достоевского в сравнение с его самочувствием после многих месяцев заключения в Петропавловске выглядели так, будто у арестанта упала гора с плеч и он может наконец свободно вздохнуть.

Никаких следов денежных расчетов между бывшими каторжниками До-

стоевским и Спешневым не удалось обнаружить и десять лет спустя, когда они оба едва ли не в один день оказались в Петербурге: даже если разговор о старом долге и возник, отдать его в тот момент Достоевский никак не мог. И опять — единственный, кто свидетельствовал об этой их встрече, был все тот же доктор Яновский, написавший в 1884 году вдове писателя: “В Петербурге мы все были у него тотчас по приезде его, были на его новоселье; тут были Аполлон Николаевич Майков, Александр Петрович Милюков, брат Михаил Михайлович с семейством, много других, а также и Спешнев, в тот только день приехавший в Петербург...”³.

Ни Майков, ни Яновский (лица “посвященные”) ничего никогда об этом свидании Достоевского со Спешневым не писали: письма Достоевского, где он непременно должен был упомянуть о Спешневе⁴, не сохранились; никаких сведений, что “Фауст” и “Мефистофель” встречались вновь, не осталось.

Анна Григорьевна Достоевская, которой Спешнев за месяцы перед своей кончиной диктовал воспоминания о ее покойном муже, ни разу не отозвалась об этом товарище-однодельце ни единой строкой.

Сама рукопись с текстом воспоминаний, переданная Анной Григорьевной, О.Ф.Миллеру и цитируемая им в “Материалах для жизнеописания...”, почему-то не была целиком опубликована, а затем куда-то бесследно исчезла.

Никаких признаков того, что Спешнев читал роман Достоевского, посвященный их общей молодости, и кого-нибудь в нем опознал, рукопись, по-видимому, не содержала — или Миллер почему-либо не захотел приводить спешневский отзыв, если все-таки он был записан вдовой писателя.

Время старательно заметало следы. Однако когда доктор Яновский опубликовал свои мемуары, где был фрагмент о Спешневе-Мефистофеле, он никак не мог знать, что в черновиках к “Бесам”, хранимых вдовой писателя, содержатся строки, поразительно созвучные той фатальной фразе, которую воспоминатель хранил в памяти всю свою жизнь.

То же и Достоевский: когда после многих проб и вариантов явились ему строки о Князе-демонe, молчаливом и язвительном, как Мефистофель, он никак не мог предполагать, что через много лет они причудливо отзовутся в мемуарах старого друга.

Фантазия писателя на страницах рукописей и поразительное свидетельство мемуариста соединялись в беспредельности творческого пространства, чтобы явить собою художественную улику.

Первая часть “Бесов” заканчивалась драматической сценой пощечины, которую “снес” Ставрогин, не убив обидчика на месте, и сопровождалась весьма откровенным признанием Хроникера относительно главного героя романа: “Николая Всеволодовича я изучал все последнее время и, по особым обстоятельствам, знаю о нем теперь, когда пишу это, очень много фактов” (10; 165).

...В тот момент, когда в черновых записях к “Бесам” внезапно появилась

мефистофельская тема, Достоевский, видимо, понял, на кого должен быть похож “обворожительный, как демон”, Князь А.Б. и что связывает с ним автора романа. По особым обстоятельствам этой связи автор действительно знал “очень много фактов”: Спешнев, легендарный современник, имел к автору романа о Князе А.Б. самое близкое и непосредственное отношение.

Личность Николая Александровича Спешнева, ровесника Достоевского, была овеяна духом романтической легенды уже к моменту их первой встречи – скорее всего, действительно, Спешнев был выше, ярче и значительнее всех, кого успел встретить Достоевский к своим двадцати семи годам. И, разумеется, дело было не в пяти сотнях рублей серебром, взятых в долг: должник в полной мере смог ощутить то завораживающее очарование, которое исходило от Спешнева.

Уже первый биограф Спешнева В.Р.Лейкина-Свирская, собравшая в двадцатые годы большой архив документальных материалов и мемуарных свидетельств, поняла, что он был из тех “редких людей, одаренных талантом личного влияния, к которым обычно притягиваются события чужих жизней”. Факты, многие из которых впервые попали в руки исследователей, убеждали: личность Николая Спешнева подверглась художественной переработке и послужила прототипом Николая Ставрогина. “Неясность, загадочность характера Ставрогина, может быть, зависит от того, что нем слишком много сырой реальности, не до конца оформленной искусством, – утверждалось в биографии Спешнева, написанной к 75-летию дела петрашевцев. – Его бесстрашие, холодность, неудовлетворенный скептицизм, его красота и сила, обаяние, на всех производимое, и ореол какой-то тайны – все это реальные элементы в образе Ставрогина”⁵.

Участник знаменитого в двадцатые годы спора о Бакунине и Достоевском, В.П.Полонский, возражая своему оппоненту, Л.П.Гроссману (доказывавшему, что прототипом Ставрогина был Бакунин), риторически восклицал: “И разве в нашем споре из этих двух фигур – Бакунина, с которым Достоевский так и не поинтересовался познакомиться, хотя жил с ним рядышком, и Спешнева, учителя юности Достоевского, – не следует отдать предпочтение последнему, совершенно оставив в покое первого?”⁶.

“Уж если говорить о прототипе Ставрогина, то никак не о Бакунине, – утверждал Полонский. – Этого деятеля Достоевский не знал, ни прямых, ни косвенных сношений с ним никогда не имел и никаких следов своей заинтересованности этой личностью не оставил, тогда как со Спешневым не только был знаком, не только был вместе с ним членом тайного общества, но даже находился под обаянием его личности, был вовлечен им в его собственный тайный кружок и столь был предан задачам кружка, что даже вербовал в этот кружок Майкова для устройства тайной типографии”⁷.

Под давлением неоспоримых фактов вынужден был признать правоту оппонента и “бакуинец” Гроссман, согласившись, что “Спешнев произвел

на Достоевского в молодости совершенно неотразимое впечатление”, являя “идеальное воплощение поразившего Достоевского типа “аристократа, идущего в демократию”. “Творческие натуры, — заключал Гроссман, — склонны в пору своих исканий подпадать подчас под влияние противоположной духовной организации, скептицизм которой производит на них впечатление какой-то чарующей демоничности... У Пушкина свой “демон” — Раевский, у Достоевского свой Мефистофель — Спешнев. И тот и другой отражаются в творчестве своих младших друзей. В лирике Пушкина это тайно навещающий его “злой гений”, в романах Достоевского — Ставрогин... Это увлечение властной натурой одного из самых замечательных русских революционеров 40-годов не могло пройти бесследно для Достоевского. Он навсегда запомнил свое духовное подчинение Спешневу, неодолимость исключительного очарования его личности и проповеди и, когда перед ним возникло художественное задание изобразить вождя русской революции, он вспомнил прельстительный образ своего Мефистофеля”⁸.

Наверное, все-таки дело обстояло ровно наоборот. Можно бы, полемизируя с Гроссманом, напомнить слова Достоевского, сказанные им еще в 1861 году, за десятилетие до “Бесов”: “Были у нас и демоны, настоящие демоны: их было два, и как мы любили их, как до сих пор мы их любим и ценим! Один из них все смеялся: он смеялся всю жизнь и над собой и над нами, и мы все смеялись за ним, до того смеялись, что наконец стали плакать от нашего смеха. Он постиг назначение поручика Пирогова; он из пропавшей у чиновника шинели сделал нам ужасную трагедию... О, это был такой колоссальный демон, которого у вас никогда не бывало в Европе... Другой демон — но другого мы, может быть, еще больше любили. Сколько он написал нам превосходных стихов... Он проклинал и мучился, и вправду мучился. Он мстил и прощал, он писал и хохотал — был великодушен и смешон. Он любил нашептывать странные сказки заснувшей молодой девочке, и смущал ее девственную кровь, и рисовал перед ней странные видения... Он рассказывал нам свою жизнь, свои любовные проделки: вообще он нас как будто мистифицировал; не то говорит серьезно, не то смеется над нами. Наши чиновники знали его наизусть, и вдруг все начали корчить Мефистофелей, только что выйдут, бывало, из департамента. Мы не соглашались с ним иногда, нам становилось и тяжело, и досадно, и грустно, и жаль кого-то, и злоба брала нас... Но мы не смеялись. Нам тогда было вообще не до смеху. Теперь дело другое... Мы как-то вдруг поняли, что все это мефистофельство, все эти демонические начала мы как-то рано на себя напустили, что нам еще рано проклинать себя и отчаиваться...” (17; 59).

За двадцать лет, разделивших Спешнева и Ставрогина, в жизни Достоевского произошло слишком много событий, преобразивших и его самого, и мефистофельскую тему, и тех, кто на его глазах любил “корчить Мефистофеля”. Поэтому как только Князь А.Б., блуждая в потемках своего Я, вышел

на “мефистофельскую” тропу, на помощь автору явился Спешнев как зеркало для героя. Соблазн продолжить и завершить прерванный арестом 1849 года роковой дуэт, в котором первая партия исполнялась Мефистофелем, заставил Достоевского отказаться от уже готового варианта “Бесов” в пятнадцать листов и начать работу заново: это был уникальный шанс встретиться со своим демоном не на его, а на своей территории.

“По странной случайности облик Спешнева, его личные особенности и биографические черты как нельзя более близко совпадают с характеристикой Ставрогина”, – иронизировал Полонский, возражая Гроссману⁹. К тому моменту, когда у Достоевского созрел наконец окончательный план “Бесов” и судьба Николая Всеволодовича Ставрогина была predetermined, прототип, пятидесятилетний Николай Александрович Спешнев, был жив, относительно здоров, проживал в Петербурге, занимался антропологией и статистикой, а также сотрудничал с печатными изданиями. Уже хотя бы по той причине, что автор романа и прототип героя были людьми более или менее одного круга и имели общих знакомых, невозможно было даже и в благородных художественных целях воспользоваться чужой биографией как фотографией или маскарадным костюмом.

Были, однако, и другие причины, почему Достоевский обращался со знакомой ему фактурой не столь бесцеремонно, как казалось первооткрывателям спешневской темы в творческой истории “Бесов”: представление о “как нельзя более близком совпадении” личных особенностей и биографических черт героя и прототипа основывалось всего лишь на общем и первом впечатлении.

Что же все-таки отражало “зеркало” – биография и личность Спешнева – когда в него смотрелся Ставрогин? Оказалось, ему прились ровно впору обстоятельства “первоначальной биографии” Спешнева – Достоевский действительно хорошо знал своего Мефистофеля с точки зрения документа и факта.

Николай Александрович Спешнев (как и Николай Всеволодович Ставрогин) родился в богатой дворянской помещичьей семье; отец его, Александр Андреевич Спешнев, отставной подпоручик и помещик из старинного дворянского рода, владел несколькими имениями в разных губерниях¹⁰. Семейный архив, сохранивший письма Спешнева к матери, Анне Сергеевне Спешневой, урожденной Беклешовой, запечатлел многие обстоятельства его первоначальной биографии. В 1840 году умер отец (в заметках внучки Спешнева, Н.А.Спешневой, говорится, что он был убит своими крепостными¹¹) и сын получил свою часть наследства: имения в двух уездах Курской губернии, собственный дом в Петербурге и 500 крепостных душ мужского пола.

Воспитывавшийся в Петербурге, во Французском пансионе (по другим сведениям, в одной из петербургских гимназий), он был принят 29 января 1835 года – вместе с М.В.Петрашевским и В.А.Энгельсоном – своекоштным воспитанником в Александровский Царскосельский лицей (куда, по шест-

надцатому году, отвезли и Ставрогина). Спешнев, однако, курса не кончил, а был отчислен из-за конфликта с преподавателями. В единственном пока опубликованном письме Спешнева к отцу (от 22 октября 1838 года) он рассказывал, что в Лицее за ним шпионят и подозревают в “революционных планах”. “Велено было исследовать мой характер исподтишка, а я не имел охоты открывать своей души, всем и каждому — заметив особенно, que j’étais espioune, — да и притом я меланхолик и оттого уже меня очень трудно узнать: мои чувства и страсти горят внутри и ничего не видно снаружи. Меня стали опасаться, потому что не могли понять, мне инспектор заговорил: “Мало есть на свете людей, которых я не могу понять, а вы из числа таких... вы человек странный, ходите всегда мрачным, непонятным, как будто человек, который развивает планы — и планы революционные, потому что, будь ваши планы хороши, и вы б открыли их всем...” Мне ставили в вину все, что случилось в классе...”¹².

В те самые осенние дни 1838 года, когда семнадцатилетний кондуктор Достоевский, жалуясь на подлость училищного начальства, которая “низложила” его и оставила на второй год в классе, писал брату в Ревень о назначении философии (“поэт в порыве вдохновения разгадывает Бога”), его сверстник Спешнев тоже исповедовался в письме к отцу — и уже во многом был таким, каким десять лет спустя он появился в кружке петрашевцев. “В каждом обществе, каково бы оно ни было, есть своя глава, свой центр, около которого становится все общество — и если я в своем классе есть такая глава, то должен ли винить себя за то, что природа дала мне *может быть* более умственных способностей, чем другим, дала более характера и такое свойство, что я невольно имею влияние на тех, с кем обхожусь; вы видите, что я говорю откровенно, — совершенно как с самим собою. Мне было 16 лет когда я понял, что такое наука; до тех пор я учился по невольному влечению, без любви, для того, что мне хотелось иметь более баллов, — не ставьте их, и я тогда может быть не учился бы или не учился б из страха; — в 16 лет сделалось другое, сделался переворот — сперва я полюбил одну науку, углубился в нее и зашел так далеко, что понял вполне и ясно, что все науки одно целое — как одна истина. С тех пор раскрылся во мне ум, мыслительность; до тех пор была одна память — с тех пор я стал рассуждать и оценивать, что худо, что добро, то есть стал действовать сам. Я открыл божественную книгу Евангелия — из нее, из этих слов Спасителя научился я, что такое человек; там нашел подтверждение своей любви к науке и стал учиться усердно, забывался иногда над книгой, плакал над страницей, молился Богу, я жил в другом мире, я жил рознь от моих товарищей, мало с кем говорил, хотя я не мизантроп, а напротив, я любил и теперь люблю всех людей и в своей душе не знаю ни к кому ненависти...”¹³.

В семнадцать лет лицеист Спешнев не был еще ни атеистом, ни социалистом, но, имея дар влияния на тех, с кем его сталкивала жизнь, уже как бы

репетировал свою главную роль. “Кругом меня шли мелочи нашей жизни, кругом меня класс, в котором я жил, распадался на части, дробился на партии, все ссорились, враждовали промеж себя, наговаривали друг на друга! И эти ссоры задевали меня в моей спокойной жизни, от меня требовали, чтобы я брал участие в какой-нибудь партии, участие в спорах, и эти споры ежедневные мешали мне в моих занятиях, хотя я и говорил, что принадлежу ко всем партиям, то есть избирал самую трудную роль. Мне надоели эти споры, мне надоело, что над ними смеются все, мне надоели ежедневные выговоры то одной, то другой партии — я встал, стал говорить со всеми, заставил всех любить себя и после двинул решительно, сломил все партии и помирил, соединил весь класс, сделал все общим и с удивлением увидел себя главою класса, с удивлением увидел, что прежние начальники партий обращаются ко мне, действуют моим словом — и я не мог не сознаться, что я имею влияние на всех, даже на самых умных”¹⁴. Но уже тогда Спешнев убедился, что талант “заставить всех любить себя” имеет оборотную сторону: как глава класса и главный зачинщик неповиновения он был “за нарушение правил подчиненности пред губернатором” сначала посажен в карцер, а затем (в апреле 1839 года) исключен из лицея.

Не закончив курса, Спешнев лишился права на чин — в том случае, если бы он хотел поступить на государственную службу. Однако он попытался вновь продолжить учение и убеждал отца, что несколько не потеряет в карьере, если станет вольным слушателем восточного факультета в университете и через короткое время выдержит экзамен на степень кандидата.

Но несмотря на страстное желание стать ученым-ориенталистом или дипломатом, несмотря на личное и близкое знакомство еще с Лицея со знаменитым путешественником, блестящим востоковедом и писателем О.И.Сенковским (Бароном Брамбеусом), несомненно повлиявшим на выбор Спешным факультета¹⁵, несмотря на усердные занятия арабским, турецким, персидским, татарским, молдавским языками, а также санскритом (“Начинаю бегло читать по-арабски и выучился спрягать глаголы”, — писал он матери, оправдываясь, что не может приехать на свадьбу сестры, так как это связано с пропуском нескольких уроков¹⁶), окончить курс в Петербургском университете ему не удалось по причинам весьма романтического свойства.

Во всяком случае в конце сороковых годов, когда после головокружительных приключений, прервавших образование, Спешнев появился в Петербурге, он назывался в официальных документах неслужащим и не имеющим чина помещиком.

Неурядицы в карьере прототипа, со всей определенностью сказавшиеся на судьбе персонажа, под пером Достоевского обдуманно получали совершенно иной вектор: блестящее, но тоже прерванное поприще Ставрогина имело куда более скандальный финал. “Кончив курс, он, по желанию мамы, поступил в военную службу и вскоре был зачислен в один из самых вид-

ных гвардейских кавалерийских полков” (10; 35). Затем Николай Всеволодович “имел почти разом две дуэли, кругом был виноват в обеих, убил одного из своих противников наповал, а другого искалечил и вследствие таковых деяний был отдан под суд. Дело кончилось разжалованием в солдаты, с лишением прав и ссылкой на службу в один из пехотных армейских полков... В шестьдесят третьем году ему как-то удалось отличиться; ему дали крестик и произвели в унтер-офицеры, а затем как-то уж скоро и в офицеры... После производства молодой человек вдруг вышел в отставку” (10; 36).

Первые шаги по служебной лестнице, сделанные Ставрогиным, были не просто отнесены на двадцать лет вперед, в другой, тоже, кстати, весьма точный исторический контекст (что отвечало задачам злободневного политического романа), но и резко криминализированы. Юность и первая молодость Ставрогина, “буйные порывы слишком богатой организации” героя на порядок превосходили соответствующий этап биографии прототипа именно по части буйства, скандалов и беспорядка. Намерение автора “испортить” репутацию героя – по сравнению с реальной биографической канвой прототипа – было особенно заметно, когда рассказ касался деликатной любовной сферы, в которой и Спешнев, и Ставрогин имели необыкновенный успех.

“А вот женились бы... на хорошенькой да на молоденькой, так, пожалуй, от нашего принца двери крючком заложите да баррикады в своем же доме выстроите!” – намекал на выдающиеся амурные способности Ставрогина пострадавший “в чести своей” Липутин. В “обществе пропаганды”, к которому принадлежал Достоевский, была хорошо известна драматическая любовная история Спешнева, относящаяся к его студенческим годам и вынудившая начинающего востоковеда оставить университет. “Когда ему был 21 год, – вспоминал П.П.Семенов-Тянь-Шанский, близкий знакомый многих петрашевцев, – он (Спешнев. – Л.С.) гостил в деревне у своего приятеля, богатого помещика С., и влюбился в его молодую и красивую жену. Взаимная страсть молодых людей начала принимать серьезный оборот, и тогда Спешнев решил покинуть внезапно дом С-х, оставив предмету свей страсти письмо, объясняющее причины его неожиданного отъезда. Но г-жа С. приняла не менее внезапное решение: пользуясь временным отсутствием своего мужа, она уехала из своего имения, разыскала Спешнева и отдалась ему навсегда... Уехали они за границу без паспортов и прожили несколько лет во Франции до той поры, пока молодая и страстная беглянка не умерла, окруженная трогательными попечениями своего верного любовника”¹⁷. Романтическое приключение, в котором Спешнев выглядел рыцарски достойным и благородным героем, имело, видимо, и какие-то неясные оттенки, не прошедшие мимо внимания тех, кто его биографией интересовался специально.

“В 1848 году, в первых порах западной революции, прибыл к нам Спешнев, человек замечательный во многих отношениях, – писал своим друзьям

Герцену и Огареву М.А.Бакунин. — История его молодости целый роман. Едва вышел он из лицея, как встретился с молодою, прекрасною полькою, которая оставила для него и мужа, и детей, увлекла его за собой за границу, родила ему сына, потом стала ревновать его и в припадке ревности отравилась. Какие следы оставило это происшествие в его сердце, не знаю, он никогда не говорил со мною об этом”¹⁸. Биографы Спешнева дополняли таинственную и скандальную историю точными именами и подробностями. “Прекрасная полька”, Анна Феликсовна Савельева, урожденная Цехановецкая, была женой соседа помещика, старшего брата лицеиста Савельева, исключенного вместе со Спешневым из университета. Полюбив чужую жену. “все взвесив и имея 5 месяцев на решение”, восемнадцатилетний Спешнев предложил ей бежать с ним и организовал побег весной 1840 года. Родственники Спешнева писали о ней: “Небольшого роста, очень изящная шатенка с сверхъестественно большими зелеными глазами на смуглом лице, блестящего ума, совершенно исключительного обаяния и доброты”. Сам Спешнев, хлопоча о разводе Анны Феликсовны с мужем и добиваясь согласия матери на брак с ней, “убеждал мать в глубине и серьезности своего чувства, в высоких моральных качествах любимой женщины, опровергал многочисленные сплетни вокруг ее имени, трагически рисовал собственное немисливо фальшивое положение подлеца; мошенника, труса и негодяя”, оскорбившего якобы всех и отказывающегося жениться, возлагал на мать ответственность за гибель его счастья, угрожал неизбежностью дуэли. “Я клянусь, — писал Спешнев, — что мне нужна такая мать, как Вы, такая жена, как она, и такой друг, как Владимир Энгельсон. Помимо моего счастья, мне нужна слава, наука и поэзия”¹⁹.

Как сообщали биографы, беглецам пришлось жить полулегально в Гельсингфорсе, тщательно заботясь о тайне пребывания и давая взятки полиции, пока, наконец, Анна Феликсовна не была принята матерью Спешнева, а затем с большими предосторожностями не отправлена в Вену, куда вслед за ней выехал Спешнев, и где в октябре 1842 года родился его сын Николай. Только в конце 1843 года было получено согласие Савельева на развод с требованием уплатить ему двадцать тысяч рублей серебром, но пока Спешнев просил мать достать деньги, пока собирался выслать своим друзьям доверенность на заклад имения, пока пытался наладить и узаконить свой брак (“Мне по уши надоела эта бродяжная жизнь, где я убиваю деньги, вдали от всех, скитание без цели, неизвестность и издержки”²⁰), родился его второй сын, Алексей, после чего (весной 1844 года) Анна Феликсовна скоропостижно скончалась; по семейному преданию, у ее смертного одра был совершен обряд венчания. Легенды приписывали ей двух детей от законного брака, которых она оставила, бежав со Спешневым, а также самоубийство: ходили слухи, что Анна Феликсовна отравилась в припадке ревности к Изабелле Цехановецкой (урожденной баронессе Кобылинской), которой якобы увлекся

Спешнев. После смерти Анны Феликсовны Спешнев приезжал в Россию, чтобы устроить двух своих маленьких незаконнорожденных сыновей в Видебском имении их дяди с материнской стороны. “У меня железное здоровье и железная душа” — писал он матери в августе 1844 года²¹.

Любовная драма Спешнева, в которой он был представлен мемуаристами как человек могучих, но благородных страстей, под пером Достоевского приобретала совсем иное звучание. “Рассказывали... о зверском поступке с одною дамой хорошего общества, с которою он был в связи, а потом оскорбил ее публично. Что-то даже слишком уж откровенно грязное было в этом деле” (10; 36).

Вряд ли что-то откровенно грязное, если оно и имело место в таинственной “польской” истории Спешнева, могло быть доподлинно известно Достоевскому: Спешнев, как рассказывали о нем воспоминатели, был удивительно неразговорчив. А самое главное: те, кто знал его близко, относились к его любовным приключениям почти с благоговейным сочувствием. М.А. Бакунин писал: “Знаю только, что оно (романтическое происшествие. — Л.С.) немало способствовало к возвышению его ценности в глазах женского общества, окружив его прекрасную голову грустно-романтическим ореолом. В 1846 году он слыл львом иностранного, особливо же польско-русско-дрезденского общества. Я знаю все эти подробности от покойной приятельницы моей Елизаветы Петровны Языковой и от дочери ее: и матушка, и дочери, и все их приятельницы, даже одна 70-летняя польская графиня были в него влюблены... Но не одни дамы, молодые поляки, преимущественно аристократической партии Чарторыйского, были от него без ума”²². (О подробностях заграничной жизни Спешнева писали и его позднейшие биографы: “С декабря 1844 года до возвращения в Россию в июле 1846 г. Спешнев почти безотлучно прожил в Дрездене. Он возобновил свои занятия, много и целеустремленно читал. Это не мешало ему иметь знакомства и романы, посещать концерты, восхищаться итальянской оперой в Вене, где он провел три недели в апреле 1845 г. Он признавался матери, что “жил как король” и что “немного-таки жаль расставаться с Европой”²³).

Вспоминала Н.А. Огарева-Тучкова: “Рассказывали, что он только что вернулся из чужих краев, где недавно похоронил женщину, для которой в продолжении нескольких лет оставлял свою страну, свою престарелую мать. Он вернулся убитый этой потерей, с двумя детьми, которых его мать взяла на свое попечение”²⁴ (встреча, запомнившаяся мемуаристке, пришлось как раз на вечер 22 апреля 1849 года, в канун ареста, когда в одну ночь взяли и Спешнева, и Достоевского).

Дамское сочувствие романтическому страдальцу Спешневу, повернутое в сторону Ставрогина, удивительно ужесточалось: Достоевский, которому в пору писания “Бесов” были не известны ни мемуары Огаревой-Тучковой, ни письма Бакунина к Герцену и Огареву (так как в виде книг их тогда еще не

существовало), будто пародировал и передразнивал воспоминателей, карикатура прекрасное изображение. “Все наши дамы были без ума от нового гостя”, — констатировал, как мы помним, Хроникер перед тем как смешать с грязью и этих дам, и их гостя; “одних особенно прельщало, что на душе его есть, может быть, какая-нибудь роковая тайна; другим положительно нравилось, что он убийца” (10; 37). На романтическую тайну Спешнева, которой очаровывались в свое время и Семенов, и Огарева-Тучкова, и Бакунин, и — наверняка — Достоевский, была брошена тень опасной сомнительности; за героем и “новым гостем” тянулся длинный шлейф в багровых тонах.

Слухи вокруг Спешнева рисовали его возвышенным и одухотворенным паладином — слухи вокруг Ставрогина полнились темным безобразием. Там, в таинственном заграничном прошлом Спешнева, были изысканные салонные дамы и поляки-аристократы, здесь — петербургское отребье, безумные хромоножки и “весноватые” девчушки за ширмами. Обаяние тайны из разряда благородно-возвышенного опускалось до значений низких и постыдных; Ставрогину надлежало признаваться не только в зверином сладострастии, которым он “был одарен и которое всегда вызывал”, но и в упоении позором и подлостью. Лицо героя писалось как будто поверх другого изображения; не трогая рисунок, оставляя без изменения контуры и линии, неистовый художник “портил” живопись: перемешивал краски, менял оттенки, сгущали тени.

Огарева-Тучкова говорила о Спешневе: “Он был высокого роста, имел правильные черты лица, темно-русые кудри падали волнами на его плечи, глаза его большие, серые, были подернуты какой-то тихой грустью”²⁵. О необыкновенно эффектной наружности Спешнева вспоминал и Бакунин: “Прибыл к нам Спешнев, человек замечательный во многих отношениях, умен, богат, образован, хорош собой, наружности самой благородной, далеко не отталкивающей, хотя и спокойно-холодной, вселяющей доверие как всякая спокойная сила, джентльмен с ног до головы... Женщины, молодые и старые, замужние и незамужние, были и, пожалуй, если он захочет, будут от него без ума. Женщинам не противно маленькое шарлатанство; а Спешнев очень эффектен: он особенно хорошо облекается мантией многодумной спокойной непроницаемости”²⁶.

Маленькое шарлатанство, завистливо заподозренное Бакуниным в поведении Спешнева, под пером Достоевского не просто выросло и окрепло, но и опасно усложнилось: за “самым изящным джентльменом”, привыкшим “к самому утонченному благообразию”, таился зверь: за “порядочно образованным”, “с некоторыми познаниями” и “чрезвычайно рассудительном” человеком укрывался опасный безумец.

“Н.А.Спешнев отличался замечательной мужественной красотой, — писал человек беспристрастный, обладавший точной и обширной памятью ученого, Семенов-Тянь-Шанский. — С него прямо можно было рисовать этюд головы и фигуры Спасителя”²⁷. И если только столь ответственное сравне-

ние имело хождение в том кружке, к которому принадлежали и Семенов, и Достоевский, Достоевскому оно было особенно мучительно: человека с обликом Спасителя он считал и называл про себя своим Мефистофелем.

С каким-то странным, суровым упрямством герою, списанному с безупречного красавца Спешнева и поднятому на “безмерную высоту”, где обитают небожители, вменялась демоническая двойственность, коварная и злокачественная двусмысленность: так за фигурой Спасителя тенью вставал Мефистофель, а перед глазами Ставрогина маячил маленький золотушный бесенок с насморком.

22 декабря 1849 года, только что пережив вместе со всеми осужденными обряд приготовления к казни, Достоевский писал брату из Петропавловской крепости: “Боже мой! Сколько образов, выжитых, созданных мною вновь, погибнет, угаснет в моей голове или отравой в крови разольется!.. Осталась память и образы, созданные и еще не воплощенные мной. Они изъязвят меня, правда!” Когда спустя двадцать лет один из самых блистательных, волнующих образов, когда-либо “выжитых” и пережитых сердцем автора, стал обретать плоть, художественный прогноз Достоевского полностью подтвердился; его память о Спешневе была отравлена, его потрясенная душа изъязвлена и изранена. “Отравой в крови” разлились воспоминания о роковом, загадочном барине, прекрасном, как Спаситель, и обворожительном, как Мефистофель. “Я с ним и его”, – сказал когда-то Достоевский о своем демоне; теперь эту связь предстояло творчески обнаружить и разорвать: пришло время заплатить старинный долг.

Поразительнее всего, что к прототипу, реальному Спешневу, Достоевский вряд ли мог предъявить какие-либо серьезные моральные претензии. Они оба были арестованы в одну ночь, и романтический красавец, барин и богач Спешнев не откупился от следствия и суда, а разделил общую судьбу арестованных: так же, как Достоевский, сидел в одиночной камере Петропавловской крепости, так же просил родных присылать книги (арабские, еврейские, китайские, санскритские и монгольские), так же был лишен всех прав состояния и осужден на смертную казнь. Еще во время следствия Комиссия намеревалась “наложить на него оковы” (то есть надеть кандалы) “для доведения его к прямому понятию о важности преступления”²⁸, в котором он обвинялся.

Петрашевец Д.Д.Ахшарумов запомнил, что сделала Петропавловская крепость с “головой и фигурой Спасителя”, стоявшего у эшафота вместе с другими приговоренными к смертной казни: “Особенно поразило меня лицо Спешнева: он отличался от всех замечательною красотой, силою и цветущим здоровьем. Исчезли красота и цветущий вид; лицо его из округленного сделалось продолговатым, оно было болезненно, желто-бледно, щеки похудалые, глаза как бы ввалились и под ними большая синева: длинные волосы и выросшая большая борода окружали лицо”²⁹. (Как установил впоследст-

вии тобольский врач, из крепости к эшафоту Спешнев вышел с начинающейся чахоткой).

Надо полагать, не слишком много демонического мог заметить Достоевский в лице такого же страдальца, как и он сам.

Так же, как и Достоевского, везли Спешнева в открытых санях, закованного в кандалы, через всю Россию из Петербурга в Тобольск. По этапу отправили в Иркутск, а оттуда в Александровский завод Нерчинского округа, на десятилетнюю каторгу, полученную по конфирмации. В ноябре 1853 года мать Спешнева безрезультатно просила государя императора послать ее сына в действующую армию, безответной осталась и ее просьба о помиловании. В 1855 году было отказано в прошении на имя графа Орлова о помещении двух мальчиков, незаконнорожденных сыновей Спешнева, в какое-нибудь учебное заведение — как не принадлежащих к податному сословию.

Петрашевец Момбелли, вместе со Спешневым назначенный в Александровский завод, уже в шестидесятых годах рассказывал о тяжести перенесенных ими испытаний: “каждый день меня приковывали к тачке, с которою я и должен был работать целый день, с небольшим отдыхом для обеда, а кормили каторжников крайне дурно, так как приходилось неизменно есть одну только похлебку с требухой и плохим черным хлебом; спали каторжники почти на голых нарах в общеарестантской палате, отдавая свое тело на съедение всяких паразитов!”³⁰.

Когда в январе 1854 года Достоевский вышел из каторги, он смог узнать первые подробности о судьбе своих ссыльных товарищей-однодельцев. Спешневу еще предстояло шесть лет каторги, но Достоевский смог узнать, что его учитель не пал духом; в сибирском климате прошла чахотка, и, устроив вместе с Момбелли и Петрашевским на Александровском заводе подготовительный пансион для детей, он давал ученикам обою пола уроки иностранных языков.

“Спешнев в Иркутской губернии, приобрел всеобщую любовь и уважение. Чудная судьба этого человека! Где и как он ни явится, люди самые непосредственные, самые непроходимые окружают его тотчас же благоговением и уважением” — писал Достоевский в январе 1854 года, как только вышел из острога. Даже если в этом отзыве и было хоть сколько-нибудь невольной зависти или горечи, то было ведь и восхищение; как один из благоговевших, Достоевский не мог не считаться с фактом всепокоряющего обаяния Спешнева, способного быть объектом обожания и в петербургских гостиных, и в каторжном остроге.

Только десять лет спустя после Тобольска Достоевский увидел Спешнева вновь: как запомнил Семенов-Тянь-Шанский, “он (Спешнев. — Л.С.) казался, несмотря на то, что был еще в цвете лет (ему было 42 года), глубоким, хотя все еще величественным старцем”³¹. Встретясь со Спешневым накоротке, дома, у себя на новоселье, Достоевский хотя бы в самых общих чертах, дол-

жен был узнать, что по царскому манифесту 1856 года Спешнев, как и другие, был досрочно освобожден и выпущен на поселение, что о возвращении ему гражданских прав и дворянского звания ходатайствовал сам Н.Н.Муравьев-Амурский, генерал-губернатор Восточной Сибири, который и привез изгнанника в Петербург.

Почему-то та часть реальной биографии Спешнева, где он как аристократ, пошедший в демократию, был осужден и понес наказание, Достоевскому совершенно не понадобилась. Герою (Ставрогину) его причастность к обществу заговорщиков должна была аукнуться не каторгой, как прототипу (Спешневу) и автору (Достоевскому), а испытаниями совсем другого порядка. От них не могли спасти ни царские манифесты, ни ходатайства либеральствующих и добросердечных генерал-губернаторов, ни снисходительность гражданских властей, сострадающих обаятельным злоумышленникам.

Фундаментальное различие между прототипом, Спешневым, и героем, Ставрогиным, которое было зафиксировано в процессе преобразования оригинала в фантазию, стало средством овладения демонически хищным типом и — освобождения от него. Одновременно это было и освобождением от себя — того, о котором Достоевский писал брату в день гражданской казни: “Как оглянусь на прошедшее да подумаю, сколько даром потрачено времени, сколько его пропало в заблуждениях, в ошибках, в праздности, в неумение жить; как не дорожил я им, сколько раз я грешил против сердца моего и духа, — так кровью обливается сердце мое”.

“Аристократ, когда идет в демократию, обаятелен!” (10; 323) — провозглашал в романе Петр Верховенский. За двадцать лет до событий “Бесов” этого мнения держался и Достоевский — видя перед собой Спешнева. И это была ошибка; фундаментальное заблуждение. Оставляя за Ставрогиным все обаяние аристократизма, весь роскошный букет из мужской красоты, чувственной энергии и демонического очарования, Достоевский подверг тотальной ревизии его статус революционера-заговорщика: от коммуниста Спешнева его художественному двойнику не досталось почти ничего. С уважением сообщали историки, что после выхода из Лицея Спешнев читал только социальную и политико-экономическую литературу. С еще большим почтением исследовалось возможное влияние на него марксистских сочинений: “Коммунистический манифест”, вышедший в начале 1848 года, гипотетически мог быть уже ему знаком. То есть если бы Спешнев был в момент выхода “Манифеста” в Европе, а не у себя в Курском имении, он бы непременно прочел самый революционный документ эпохи.

Ставрогин, покончивший с собой октябрьским вечером 1869 года, двадцать лет спустя после гражданской казни над Спешневым и Достоевским, марксизмом уже не интересовался: товарищ по “общему делу”, навестив Николая Всеволодовича в его доме, вместо Маркса, Фурье или хотя бы Луи Блана (которого Достоевский под влиянием Спешнева, читал сам и предла-

гал читать брату Михаилу), обратил внимание только на альбом с картинками “Женщины Бальзака” – шикарный кипсек, задетый вертлявым нигилистом, с шумом упал на пол. Личность Спешнева под пером Достоевского ображалась таким образом, чтобы крайний радикализм аристократа-коммуниста был бы или психологически невозможен, или попросту смешон. И Ставрогин, втянувшись в общество заговорщиков по праздной прихоти, оказывался едва ли не главным обличителем “наших”: открыто презирая их, демонстрируя неповиновение политическому вождю и протестуя против террористической акции, он задним числом исправлял ошибки – те, которые признавал Достоевский и за собой, и за Спешневым.

Однако просто умерить революционные амбиции Ставрогина-Спешнева и дегероизировать сюжет Достоевскому казалось недостаточным. Требовалась более масштабная сатисфакция, более решительный пересмотр “давнопрошедшей истории”, как называл Достоевский историю петрашевцев. Авторская фантазия вторгалась в реальные события прошлых лет и перекраивала их, приписывая участникам такие поступки, на которые тогда они были неспособны – по робости, слабости или недомыслию. И вот Шатов, ученик и приспешник Ставрогина (на эту пару явно были ориентированы реальные взаимоотношения Достоевского и Спешнева), в сильнейшем потрясении, почтим умопомрачении выкрикивал в лицо своему кумиру немислимые, неслыханные слова: “Вы, вы, Ставрогин, как могли вы затереть себя в такую бесстыдную, бездарную лакейскую нелепость! Вы член их общества! Это ли подвиг Николая Ставрогина! – вскричал он чуть не в отчаянии. Он даже сплеснул руками, точно ничего не могло быть для него горше и безотраднее такого открытия” (10; 193).

Надо полагать, в тот момент, когда написались столь мучительные для Достоевского-спешневца строки, они, может быть, явились сюрпризом для него самого. Надо полагать, что в те времена, когда он был еще вместе со своим Мефистофелем и был *его*, он не осмеливался на подобные дерзости. Но он смог выговорить эти слова, находясь в другом измерении, в другой точке времени и пространства – там, где сходились вместе Спешнев и Ставрогин, Шатов и он, Достоевский, бывший участник малого спешневского кружка, куда он по поручению Спешнева вербовал Майкова, чтобы произвести переворот в России.

“Это ли подвиг Николая Ставрогина!” – восклицал Шатов, по логике событий и справедливости ради Достоевский мог бы, имея в виду историю с прототипами, продолжить список имен, включив в него как минимум и Спешнева, и самого себя. Этого требовал долг памяти и то понимание Сюжета, которое возникло на пересечении двух замыслов и двух заговоров – романа о своей революционной молодости и памфлета о политической злобе дня.

Знаменательно, что в “Бесах” отыскиались и следы старинного денежно-го долга. “Вот, возьмите, сто рублей, которые вы мне послали; без вас я бы

там погиб. Я долго бы не отдал, если бы не ваша матушка; эти сто рублей подарила она мне девять месяцев назад на бедность, после моей болезни” (10; 192). Нищий Шатов отдал из последних денег, фактически из подаяния, ту самую сумму, которую в крайнюю минуту брал в долг, и при этом Ставрогин долг своего должника принял деньгами, а не услугами. Роман исправлял действительность: герои, наученные горьким опытом прототипов, в особо щепетильных случаях старались вести себя строже и осмотрительнее.

Громко аукнулась в романе и еще одна таинственная история, восходящая к событиям двадцатилетней давности.

Из показаний подсудимого Спешнева: “Под влиянием разговоров в обществе Дурова он, Спешнев, решился было устроить у себя типографию и упросил подсудимого, Филиппова заказать разные части типографского станка. Впрочем, как и всегда, едва приступил к исполнению худого намерения, стал раздумывать и старался только получить от Филиппова все вещи, чтобы они не оставались в его руках”³². Спешневу возражал Филиппов. “Он, Филиппов, недели за две до ареста, вознамерился устроить уже не литографию, а типографию и действовать независимо и в тайне от других, предполагая собирать и распространять печатанием такие сочинения, которые не могут быть напечатаны с дозволения цензуры. С этой целью он, Филиппов, занял у Спешнева денег и заказал для типографии нужные вещи, из коих некоторые уже привезены были к Спешневу и оставлены, по его вызову, в квартире его. Сей умысел не касается никакого кружка и никаких лиц кроме его, Филиппова, и Спешнева, ибо оба они положили хранить это дело в величайшей тайне”³³. Спешнев все же настаивал, что мысль о заведении типографии принадлежит именно ему, а не Филиппову, и что Филиппов напрасно в этом случае берет на себя вину.

Типография, не найденная при обыске, не отяготившая вины Спешнева (давшего деньги на ее изготовление), Филиппова (сделавшего чертежи и для конспирации заказавшего детали станка в разных мастерских Петербурга), Мордвинова (на чьей квартире станок был собран), Достоевского (в числе других участников спешневской семерки посвященного в суть дела), тем не менее, вопреки утверждению Майкова, — не была уничтожена. Ее следы обнаружались гораздо раньше, чем было написано (1885) и тем более впервые опубликовано (1922) знаменитое письмо Майкова к Висковатову³⁴ с сенсационными подробностями по делу спешневца Достоевского.

Выкраденная семьей сенатора Мордвинова из комнаты его сына, участника дуровского и спешневского кружков, типография в течение двадцати лет пребывала в нетях, чтобы всплыть по воле одного из кружковцев при особых обстоятельствах. Собранный в 1849 году, но ни разу так и не использованный ручной станок, повинувшись художественной фантазии Достоевского, стал в его романе средством шантажа и поводом к политическому убийству.

“Вам... поручили принять здесь, в России, — объяснял Ставрогин Шатову, предупреждая о грозящей опасности, — от кого-то какую-то типографию и хранить ее до сдачи лицу, которое к вам от них явится... Вы же, в надежде или под условием, что это будет последним их требованием и что вас после этого отпустят совсем, взялись... Но вот чего вы, кажется, до сих пор не знаете: эти господа вовсе не намерены с вами расстаться” (10; 192). И Шатову, дерзнувшему порвать с “этими господами”, предстояло “сдавать станок и буквы и старые бумажки”. “Господам” же надлежало “завлечь Шатова, для сдачи находившейся у него тайной типографии, в то уединенное место, где она закопана”, чтобы там уже “распорядиться”. Юноша Эркель, явившись к Шатову, чтобы его “завлечь”, объявлял ему: “У вас станок, вам не принадлежащий и в котором вы обязаны отчетом, как знаете сами” (10; 438); в контексте давнопрошедшей истории слова фанатичного кружковца звучали как тяжелая улика против подсудимого Достоевского.

Уже не только уликой, а фактическим признанием в соучастии при сборке станка на квартире Мордвинова мог служить и другой фрагмент диалога Шатова и Эрделя.

“— Как же вы возьмете (станок. — Л.С.)? Ведь это нельзя зараз взять в руки и унести.

— Да и не нужно будет. Вы только укажите место, а мы только удостоверимся, что действительно тут зарыто. Мы ведь знаем только, где это место, самого места не знаем. А вы разве указывали еще кому-нибудь место?

Шатов посмотрел на него. — Вы-то, вы-то, такой мальчишка, — такой глупенький мальчишка, — вы тоже туда влезли с головой, как баран? Э, да им и надо этакого соку!” (10; 438).

За всех, кому удалось тогда избежать наказания, или обманув следствие, уменьшить его размеры, должен был теперь расплачиваться Шатов. В тот самый момент, когда он, завлеченный в “уединенное место”, указал, где копать, и воскликнул: “Ну, где же у вас тут заступ и нет ли еще другого фонаря?”, трое сбили его с ног и придавили к земле; за минуту до акции между ее исполнителями действительно решался вопрос о судьбе станка.

“— Если не ошибаюсь, сначала произойдет передача типографии?.. — Ну разумеется, не терять же вещи... Пусть он укажет только вам точку, где у него тут зарыто; потом сами выроем...” (10; 457). Почему-то, однако, заговорщики, замечая следы, так и не вырыли ценную “вещь”; давая откровеннейшие показания следствию, они даже не упомянули о типографском станке — будто его никогда и не было.

Собственно говоря, здесь его и в самом деле не было; существовал фантом, тайна, когда-то, видимо, немало измучившая Достоевского, скрывшего от судей, вслед за другими спешневцами, опаснейший сюжет. Теперь, за давностью лет, тайна была уже не столь опасна; к тому же художественную улику вряд ли можно было бы законным путем использовать против автора или

его бывших однодельцев. С чистой совестью он мог бы теперь воскликнуть вслед за членом пятерки Виргинским, почти обрадовавшимся при аресте: “С сердца свалилось”.

... О.Ф.Миллер писал об удивительном благодушии, с которым Достоевский, заключенный в крепость, отнесся к своему положению. “По собственным словам Ф.М., он сошел бы с ума, если бы не катастрофа, которая переломилась его жизнь. Явилась идея, перед которой здоровье и забота о себе оказались пустяками”³⁵.

Если под спасительной идеей подразумевалось покаянное отрешение от тяжелых ошибок молодости, ему нужно было научиться не сожалеть о прошлом, а художественно преобразить его. Лишь здесь, в беспредельности романного вымысла, где он был хозяином положения и господином разговора, являлся шанс не только уплатить, но и получить по счетам.

“Поймите же, — кричал Петр Степанович Николаю Всеволодовичу, — что ваш счет теперь слишком велик, и не могу же я от вас отказаться! Нет на земле иного, как вы!”

У Достоевского имелись и собственные резоны для подобных заявлений. Его счет Ставрогину был также слишком велик — намного больше, чем того стоили одни лишь политические “подвиги” Николая Всеволодовича и его прототипа³⁶.

ПРИМЕЧАНИЯ:

¹ Спустя две-три недели Яновский стал замечать странные перемены во внешности и в поведении своего пациента и друга: “Федор Михайлович... сделался каким-то скучным, более раздражительным, более обидчивым, и готовым придираться к самым ничтожным мелочам и как-то особенно часто жалующимся на дурноты”. Как врач Яновский, видя у Достоевского “скучное расположение духа”, искал органические расстройства; но не находя их, уверял друга, что дурнота, не имея медицинских причин, пройдет бесследно. Но однажды, в ответ на эти успокоения, Достоевский сказал: “Нет, не пройдет, а долго и долго будет меня мучить, так как я взял у Спешнева деньги (при этом он назвал сумму около пятисот рублей серебром) и теперь я с *ним* и *его*. Отдать же этой суммы я никогда не буду в состоянии, да он и не возьмет деньгами назад, такой уж он человек”. “Вот разговор, который врезался в мою память на всю жизнь”, писал Яновский. Он запомнил, что в течение их беседы Достоевский несколько раз повторил: “Понимаете ли вы, что у меня с этого времени есть свой Мефистофель” (“Русский вестник”. 1885. № 4. С. 796 — 819).

² Когда в 1905 году историк В.И.Семевский одним из первых получил доступ к секретным архивам петрашевцев, следственное дело Спешнева уже считалось утерянным. Не повезло и работавшему параллельно с В.И.Семевским и В.М.Саблину, издавшему в 1907 году первый сборник материалов “Петрашевцы”.

³ Литературное наследство. Т. 86. С. 377.

⁴ В декабре 1859 года Плещеев спрашивал у Достоевского в письме из Москвы: “Ради Бога, сообщи ты мне — правда ли, что Спешнев в Петербурге? Видел ли ты его — и что он — переменялся ли? Если он тут, то, пожалуйста, поклонись от меня усердно”. В марте 1860 года Плещеев вновь интересовался Спешневым: “Что Спешнев? Долго ли пробудет в Петербурге и где поселится?” (Ф.М.Достоевский. Материалы и исследования. Л., АН СССР, 1935. С. 450, 452). ответные письма Достоевского Плещееву были утрачены адресатом.

⁵ Лейкина-Свирская В.Р. Петрашевец Н.А.Спешнев // Былое. 1924, 25. С. 24.

⁶ Спор о Бакуanine и Достоевском. (Статьи **Л.П.Гроссмана** и **Вяч.Полонского**) Л.: ГИЗ, 1926. С. 133.

⁷ Там же. С. 134.

⁸ Там же. С. 165 — 167.

⁹ Там же. С. 132.

¹⁰ См.: **Лейкина-Свирская В.Р.** Петрашевец Н.А. Спешнев в свете новых материалов // История СССР. 1978. № 4. С. 129.

¹¹ См. там же. Не известно, говорил ли Спешнев с кем-нибудь из своих приверженцев об этом печальном событии и знал ли Достоевский, что он и "его Мефистофель" потеряли своих отцов при одинаково трагических обстоятельствах и почти одновременно.

¹² Н.А. Спешнев о себе самом. Публикация **Б.П.Козьмина** // Каторга и ссылка. 1930. № 1. С. 96.

¹³ Там же. С. 95.

¹⁴ Там же С. 95 — 96.

¹⁵ История СССР. 1978, № 4. С.130.

¹⁶ Там же.

¹⁷ **Семенов-Тянь-Шанский П.П.** Мемуары. Т. 1. Пг., 1917. С. 198.

¹⁸ Письма **М.А.Бакунина** к А.И.Герцену и Н.П.Огареву. СПб., 1906. С. 158 — 159.

¹⁹ История СССР. 1978, № 4. С. 131.

²⁰ Там же. С.132.

²¹ Там же.

²² Письма **М.А.Бакунина** к А.И.Герцену и Н.П.Огареву. С. 158-159.

²³ История СССР. 1978, № 4. С. 133.

²⁴ **Огарева-Тучкова Н.А.** Воспоминания. 1848 — 1870. М., Изд. М. и С.Сабашниковых, 1903. С. 67.

²⁵ Там же. С. 67.

²⁶ Письма **М.А.Бакунина** к А.И.Герцену и Н.П.Огареву. С. 158.

²⁷ **Семенов-Тянь-Шанский П.П.** Мемуары. Т. 1. С. 198.

²⁸ Доклад генерал-аудиториата по делу петрашевцев//В кн.: Петрашевцы. Сбор материалов/Под ред. **П.Е.Щеголева**. Т. 3. М.-Л.: Госиздат, 1928. С. 54.

²⁹ **Ахшарумов Д.Д.** Из моих воспоминаний (1849 — 1851). СПб.: "Общественная польза", 1905, № 7. С. 99.

³⁰ **Хитрово Н.П.** Воспоминания об одном из петрашевцев. (Н.А.Момбелли)//Русская мысль. 1909, № 7. С. 99.

³¹ **Семенов-Тянь-Шанский П.П.** Мемуары. Т. 1. С. 199.

³² Доклад генерал-аудиториата... С. 64.

³³ Там же. С. 194.

³⁴ Письмо Майкова к Висковатову впервые было опубликовано в статье **Е.Б.Покровской** "Достоевский и петрашевцы"//В кн.: Ф.М.Достоевский. Статьи и материалы/Под ред. **А.С.Долинина**. Пг., 1922. С. 266 — 277.

³⁵ Биография, письма и заметки из записной книжки Ф.М.Достоевского. СПб., 1883. С. 112.

³⁶ Подробнее об этом см.: **Людмила Сараскина**. "Федор Достоевский": Одоление демонов". М.: Согласие, 1996. С. 317 — 397.